

Нелли Иванова-Георгиевская

**ГЕРМЕНЕВТИКА ПОЛЯ РИКЕРА НА ПУТИ К
САМОПОНИМАНИЮ: МАЙОР КОВАЛЕВ В ПОИСКАХ
ИДЕНТИЧНОСТИ**

Словно Гоголь знал, что человек должен
быть несколько нелеп, и только это еще
нас выручает, позволяя, не претендуя на
многое, запечатлеть свою душу и облик в
скорописи житейских невзгод.

Абрам Терц

Герменевтика в течение всего времени своего формирования и развития обрела разнообразные формы – от искусства истолкования устных текстов античности до универсальной науки о понимании, от теории интерпретации текстов, формулирующей правила и приемы работы со знаками языка, до философии понимания как истолкования бытийственных возможностей, имеющего онтологический статус. Чего ей только не предписывалось: руководить движением понимания с целью прояснения и уяснения «того, что хотел сказать автор», или «того, что говорит текст»; то обнаруживать смысл в виде готовой данности, то формировать его в процессе диалога путем взаимодействия смыслового горизонта текста и контекста толкователя. В конце концов, к началу XXI века герменевтика, вбирая в себя методические приемы обнаружения смысла, сформированные за ее пределами, – в структурализме, феноменологии, психоанализе, – сумела позиционировать и реализовать себя как философия самопонимания. Это случилось в философской герменевтике французского мыслителя, о котором в предисловии переводчиков его труда «Память, история, забвение» сказано, что «тому, кто хочет узнать, какой была философия в XX веке и какие проблемы она передала веку XXI, следует читать труды Поля Рикера», непревзойденного мастера вопрошания [9, с. 5]. Его философско-герменевтическое учение дает возможность рассмотреть повесть Н. В. Гоголя «Нос» в контексте проблемы поиска человеком идентичности, что позволит проявить такие аспекты смысла этого многожды и на все лады истолкованного произведения, которые оставались за пределами внимания исследователей. Утрату коллежским асессором носа повесть дает возможность истолковать как потерю им идентичности, а завершение невероятного происшествия – как возвращение Ковалеву понимания самого себя как личности, полной значимых для него возможностей, было утраченных с потерей столь важной части лица. Рассмотрению

описанного в «Носе» невероятного происшествия в таком контексте посвящена данная статья.

Рикер формулирует основные задачи философской герменевтики на стыке двух герменевтических традиций – методологической и онтологической, задаваясь вопросом: «что происходит с эпистемологией интерпретации, вытекающей из рефлексии об истолковании, об историческом методе, психоанализе, феноменологии религии и т. д., когда она соприкасается с онтологией понимания?» [8, с. 9]. Рикер принимает установку М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера на формирование герменевтики как учения об истине бытия, не могущей быть постигнутой посредством метода, вполне обоснованно усматривая в разработке понимания как *метода* действие предрасудков кантианской теории познания, исходящей из предположения об объективном познании. Поэтому он не склонен относиться к герменевтике исключительно как к науке о правилах истолкования, как к методологии – такое ее понимание утвердилось начиная с Шлейермахера и Дильтея. Рикер, судя по всему, соглашается с хайдеггеровской трактовкой герменевтики как *искусства* истолкования, призванного бороться, как пишет Гронден, с «самосокрытием фактичности» путем *указания* на то, что нуждается в истолковании, и *извещения* о сущем – о возможности всегда собственной экзистенции [3, с. 48]. Трактовать герменевтику как путь к самопознанию позволяет Рикеру внимание к хайдеггеровскому анализу, указующему на «должную быть заполненной каждым вакансию бодрствования, дремлющего в основной конституции человека как вот-бытия» [3, с. 50]. Хайдеггер в лекции «Онтология (герменевтика фактичности)» произносит замечание, которое способно, как мне кажется, прояснить один из истоков рикеровского понимания герменевтики и ее задач: «Сама герменевтика остается неважной до тех пор, пока бодрствование ради фактичности, которое призвано ее обнаруживать, не есть “**вот**”» [10]. То есть герменевтика, возникая из «философского бодрствования», посредством которого происходит встреча вот-бытия с самим собой, способна открыть человеку, через истолкование бытийственных возможностей, его самого: так Рикер актуализирует антропологические импликации фундаментальной онтологии. Французский философ согласен, что невозможно постичь существо и самость человека на основании понятийности, «скроенной по миру наличных вещей, согласно которой вещь являет собой неизменную сущность, обремененную свойствами, которые можно объективно наблюдать посредством “индифферентного теоретического образа мыслей”» [3, с. 53]. Он подтверждает, что путь Я к самому себе, анализ структуры личностной идентичности возможны только через истолкование, а не через теоретическое созерцание себя как *объекта* рефлексии. Аргументы против картезианского тезиса о возможности самопознания на пути рефлексивного созерцания Я и определения Я как безусловного бытия, являюще-

гося основой всех смыслоположений, Рикер находит в идеях Ницше, Маркса, Фрейда об обусловленности Я несознаваемыми содержаниями. «Cogito может быть схвачено только путем расшифровки документов собственной жизни» [8, с. 27]. Рефлексия, таким образом, перестает трактоваться в рамках философии сознания, а оказывается присвоением «нашего усилия существовать и нашего желания быть через произведения, свидетельствующие об этом усилии и об этом желании» [8, с. 27], то есть рефлексия оказывается слепой интуицией, пока не опосредуется «объективирующими жизнь выражениями» (Дильтей). Поэтому Рикер привлекает для нужд герменевтического исследования изучение семиотических уровней повествовательности, особенно уровня манифестации, «где позиции, определенные формальным образом в плане поверхностной грамматики, наполняются предметным содержанием» [6, с. 59].

Погруженность Рикера в философские идеи основоположника феноменологии Э. Гуссерля, в частности о горизонте потенциальных способов данности предмета как факторе смыслоконституирования позволяет ему трактовать Я как изначально «*могущего* субъекта», располагающего возможностями мыслить, говорить, выбирать, поступать и нести ответственность за свои поступки и выбор. Все многообразие возможностей Я может быть раскрыто в ситуации «философского бодрствования» путем ответа на вопросы: кто говорит? кто совершил действие? о ком повествует история? кто несет ответственность за данный проступок? [7, с. 40]. Таким образом, задача самопонимания оказывается у Рикера поиском человеком идентичности, обретение которой достигается на пути герменевтического анализа текстов, произносимых самим человеком, его поступков, а также повествований о нем¹.

Самопонимание осуществляется в процессе чтения и истолкования текстов, когда анализ повествовательной идентичности и идентичности персонажей в конце концов приводит к обретению читателем собственной идентичности. Это происходит путем отождествления Я (читателя) с Другим (персонажем), когда в модусе воображения происходит «примерка» читателем на себя различных жизненных ситуаций и личностных проявлений, что способствует обретению значительного личностного опыта *возможного*, превосходящего любую эмпирическую действительность и позволяющего Я прийти к полноценному пониманию самого себя в процессе изменения, рефигурации Я.

Опираясь на предложенные Рикером способы движения к идентичности: установление идентичности повествования «Носа», проявляющейся в процессе завязывания интриги, определение своеобразия речи и поступков Ковалева – мы получаем возможность обрести идентичность этого персонажа. Но кроме этого, вполне допустимо и даже продуктивно будет применить к персонажу те процедуры изменения читательского Я,

которые Рикер называет рефигурацией Я и трактует как единственный путь обретения самостью подлинной идентичности. Тогда не только Я читателя может быть подвержено рефигурации как следствию овладения персонажем, но и Я майора Ковалева – как результату овладения им перипетиями повествования как пространства его жизни, собственными душевными движениями и будущим обликом своей карьеры, утратившей всяческую надежность.

Обретение идентичности посредством чтения и структурирования воспринимаемого текста, согласно Рикеру, представляет собою процесс, требующий неперемного движения внутри самого Я. Этот процесс чреват возможностью не только обретения, но и утраты адекватного самопонимания, свидетельствующего о принципиальной непрочности идентичности. Само слово «идентичность» имеет два значения, восходящих к латинским *idem* («в высшей степени сходный», тот же самый, один и тот же) – здесь заключена некая форма неизменности во времени (противоположное значение – различный, изменяющийся) и *ipse* (самость, сам, индивид тождествен самому себе) – здесь заключено определение непрерывности во времени (противоположное значение – другой, иной) [7, с. 19]. Вся задача постижения идентичности состоит в исследовании различных связей между постоянством и изменением, соответствующих идентичности в смысле самости. Очевидно, что майор Ковалев не сумел справиться как раз с этой задачей, поскольку потерю одной из возможных форм собственной тождественности, вызванную утратой носа, он принял за утрату самости, пришел к утверждению себя самого как *ничто*. Здесь персонаж повести демонстрирует то, что Рикер называет «соблазном идентификации», или «идентифицирующее безрассудство» (Жак Ле Гофф), состоящее в «снижении идентичности *ipse* до уровня идентичности *idem*» [9, с. 19–20], когда одна из определенных форм личностного определения и самореализации принимается за тождественную самость, а индивид оказывается неспособным выдержать непростое отношение идентичности ко времени и сохранить «я» во времени на основании сложной игры между «самотождественностью» и самостью.

Платон Кузьмич Ковалев идентифицирует себя с майором. Получив два года назад на Кавказе чин коллежского асессора, он, чтобы придать себе весу и значительности, называет себя майором, присваивая себе военное звание, соответствующее его чину в гражданской табели о рангах. Он и других людей отождествляет с чинами: «Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо ежели то случалось при посторонних» [2, с. 52]. В конце концов вся жизнь Ковалева разворачивается в пространстве этого бытийственного региона, в мире чинов и званий, утратившем во многом подлинные человеческие

основания и черты. Анализ поиска майором самого себя следует проводить с учетом этого контекста его жизни, исходя, в первую очередь, из того, что любое герменевтическое исследование организуется на основании контекстуального анализа, требующего учитывать микроконтекст, макроконтекст и диалогический контекст как условия понимания смысла, поскольку смысл можно трактовать как значимость синтеза значений элементов текста в рамках определенного контекста. Гоголь выстраивает определенную *топографию* смыслового пространства повести, где персонажи помещаются в определенное место – и это не столько место в физическом пространстве, описываемое посредством метров и километров, сколько пространство жизни, смысл и ценность которого задаются табелью о рангах, предписывающей каждому обитателю этого мира определенные формы и способы жизнедеятельности. Все действующие лица повести вводятся и живут в художественном мире как носители соответствующего чина, всяческие приметы которого тщательно описываются: это не только сам майор Ковалев, строго соблюдающий соответствие своего поведения и круга общения своему званию, но и Нос, явивший свой чин «в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротничком; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника» [2, с. 50]. Это и множественные оберполицмейстеры, привратники, столоначальники, частные приставы, квартальные надзиратели, будочники с алебардой, штаб-офицерши, утратившие свою фамилию цирюльники, исполняющие вокруг нашего растерявшегося было персонажа предписанные им фигуры своего жизненного танца. При этом звания и чины легко определяются не только по вещам-приметам: шляпа с плюмажем, галуны, пуговицы вицмундира, – но и по частям тела: бакенбардам, носу (его отсутствие становится знаком крушения всех жизненных планов). В таком призрачном, марионеточном мире «людей-должностей» и «вещей-знаков должностей» человек оказывается автоматом, выполняющим программу своего звания².

Поэтому содержание самости Ковалева, весь горизонт возможностей личности, желаемые жизненные формы связываются им с майорским чином, позволяющим осуществиться его мечтаниям. Это ожидание подходящей должности: «Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то – эскуперского в каком-нибудь видном департаменте» [2, с. 49], и удачной женитьбы: «Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестой случится двести тысяч капитала» [2, с. 49]. Определенное место в табели о рангах предоставляет Платону Кузьмичу такие блага, которых лишен любой, не занимающий соответствующей ступени: это и «актрисы,

хорошенькие собою», о которых Ковалев вспоминает, увидев в газетной экспедиции извещение о спектаклях, когда его рука автоматически тянется в карман за синей ассигнацией, поскольку ему, как обладателю чина штаб-офицера полагается сидеть в креслах; это и право добиться почитания от бабы, торгующей манишками, которой Ковалев так запросто сообщает: «...ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? – тебе всякий покажет» [2, с. 48]; это и прогулки по Невскому проспекту рядом с признающей Ковалева «своим» публикой как фиксация социального статуса: «Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален» [2, с. 48]; это и свободный вход в общество: «Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые...» [2, с. 56]. Даже обиды Платона Кузьмича могли быть вызваны не личными оскорблениями, а только несправедливыми укорами чину: «Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать» [2, с. 59]. Поскольку в «нем самом» Ковалев не находит ничего, что могло бы заполнить собою его Я, кроме майорского звания, с потерей носа как весьма заметной части тела Ковалев утрачивает все возможности вести жизнь, свойственную майору, теряет собственную идентичность.

То есть с майором злую шутку сыграл «соблазн идентификации», когда его самость он отождествил с одним из возможных вариантов ее реализации – с майорским чином, утрата которого открыла Ковалеву, что он теперь есть *ничто*, ибо ничему из его жизненных планов, связанных с единственной формой самотождественности, теперь не суждено осуществиться. «Будь я без руки или без ноги – все бы это лучше; будь я без ушей – скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек – черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, – просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!..» [2, с. 59]. Хотя отсутствие носа в практическом отношении вряд ли приносит больше неудобств, чем потеря руки или ноги, – разве что табачку теперь нечем понюхать, но в том ценностно-смысловом измерении жизни, которое значимо для Ковалева, отсутствие руки или ноги может прочитываться как знак отваги и военного подвига за Отечество, в то время как отсутствие носа скорее говорит в пользу недобропорядочного поведения и неразборчивости в общении с дамами.

Поэтому майор Ковалев до выяснения дальнейшего хода событий и окончательного понимания всего случившегося с ним старательно заботится о сохранении в тайне чрезвычайного происшествия, отказываясь назвать свою фамилию при подаче объявления об исчезновении носа в газетную экспедицию: «Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают, Боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине» [2, с. 55]. Вот уж хитрец этот майор, ведь такой текст объявления, будь он напечатан, и тайну имени не выдаст, так что в случае благополучного разрешения дела никто и не заподозрит, сколько неприятностей пережил Платон Кузьмич, и все его честолюбивые намерения обрести славу и известность (поскольку он, до потери носа и после его обретения, всячески себя презентировал и свое майорство афишировал) позволит реализовать: в газете было бы написано как раз о Ковалеве – ибо он себя отождествляет исключительно с «состоящим в майорском чине»!

Рикер утверждает, что прохождение самости через испытание «ничто» может и должно оказаться продуктивным, поскольку в данном случае бессубъективность, «ничто» не означает пустоту, о которой нечего сказать, а скорее свидетельствует о заостренности до предела вопроса «Кто я?» [7, с. 29], в результате чего личность должна придти к пониманию того, что свою самость нельзя отождествлять с одной из возможных форм самотождественности, что поиски должны завершиться рефигурацией Я, приращением его бытийственного смысла. Обычно этот процесс происходит в качестве отождествления Я с Другим, когда личность получает возможность в модусе воображения пережить себя в разных жизненных ситуациях, невозможных в действительности, вследствие чего обогащает самопонимание новыми возможностями «Я как *могущего*». Вымышленная модель «является фактором открытия в той мере, в какой последнее является фактором преобразования» [7, с. 35]. Рикер понимает всю опасность и двусмысленность такой игры, которая может завершиться самообманом или бегством от самого себя. Но, по мнению философа, только так человек приходит к более адекватному постижению самого себя, и рефигурация означает «стань тем, кто ты есть», отказавшись навсегда закреплять в виде устойчивой формы самореализации только одну из возможностей, которую нельзя окончательно отождествлять с собою. Ковалев, идентифицирующий себя с майорским чином, продельвает после утраты носа такую работу по отождествлению самого себя с другими, но без всякой пользы для достижения столь необходимой рефигурации. Он обращает внимание на «ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся» [2, с. 52] – теперь он, входящий в собор, прикрывая лицо платком,

«показывая вид, как будто у него шла кровь» [2, с. 49], мало от них отличается, как и от торговки, «которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины» [2, с. 51]. Заметив «легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами,... кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки осененной цветом первой весенней розы» [2, с. 51–52], Ковалев было обрадовался, лелея сладкую мечту, но обратив внимание на сопровождающего ее высокого гайдука с большими бакенбардами и целой дюжиной воротничков, который нюхал табак, доставая его из табакерки, «отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его» [2, с. 52].

Обретя чудесным образом на положенном месте нос, Ковалев по-прежнему свою самость отождествляет с майорским званием и теми возможностями, которые следуют из него, разве что их он увидел теперь еще больше: «И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена» [2, с. 69]. – теперь в горизонт ожиданий включено получение ордена. И осознав вследствие удивительного происшествия значимость носа для реализации жизненных планов, он начинает гордиться его значительным размером, впредь никогда не допустившим возможности, чтобы его присутствие осталось незамеченным: «Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы» [2, с. 69]. Возвращение себе и своей жизни смысла не привело к той значимой трансформации самоидентичности, которая могла бы заполнить самость новым миром возможностей, когда «Я могущий» не ограничивался бы круговертью привычных образований.

Если в поисках Ковалевым идентичности учитывать его речь и действия, как этого требует Рикер, то окажется что в ряде ситуаций идентификация затруднена условиями организации общения. Рикер показывает, что субъект идентифицируется в процессе беседы, когда «Я» подразумевает, что «Ты» способен определить себя как «Я», и наоборот, и в процессе действия, когда «Я», действуя, сознает, что «я могу», и верит в то, что и «Ты» может, как и «Я», и наоборот. Полное понимание правил такого обмена создает элементарное условие возникновения субъекта. Деформирование словесной или действенной коммуникации предопределено неравноправием «Я» и «Ты». Когда майор Ковалев встречается в Казанском соборе с Носом в мундире, все высказывания

майора представляют собою сбившуюся речь, когда одна часть предложения наскакивает на другую, в результате чего его собеседнику невозможно ничего понять. Удивительно устроен Гоголевский мир: ведь точно знает Ковалев, что перед ним его собственный нос – он так и заявляет в конце концов, но настолько магически действуют внешние приметы чина – мундир, шпага, шляпа, пуговицы, – что он все-таки вступает в разговор с находящимся перед ним носом, будто бы это господин, учитывая его звание. Но поскольку Ковалев никак не может подразумевать, что Нос, будучи на самом деле частью лица, может самого себя определить как «Я», вследствие этого распадается субъектность самого Ковалева, что выражается в распавшемся дискурсе.

Действия Ковалева можно распределить таким образом: от растерянности после обнаружения пропажи носа – к активности в организации его поисков – к отчаянию после понимания невозможности его возвращения – к активности демонстрации носа на его месте. Каждый этап, описанный Гоголем со всей присущей ему любовью к мелочам и второстепенным фактам, служащим «субстанциальным началам человеческого произрастания» [1, с. 26], – каждый этап свидетельствует об абсолютной значимости для майора его чина, с которым он себя отождествил, и ни в каком моменте повествования с личностью Платона Кузьмича не происходит такого приращения бытийственного смысла, которое говорило бы о свершившейся подлинной идентификации, он и после возвращения носа продолжает мыслить «свой идеал не отвлеченными символами, но знакомыми приметам служебной карьеры» [1, с. 105].

Рикер объясняет непрочность идентичности прежде всего ее «сугубо неявным, предположительным, притязательным характером», проявляющимся в ответе на вопрос «кто я?», имеющем форму «что» [9, с. 119]. До тех пор пока Я будет определяться в терминах субстанции и ее схемы – постоянства во времени – а так происходит всегда, когда, понимая текучесть внутреннего опыта человека, в установлении опоры идентичности начинают искать некую незыблемую основу личности – человек не сможет выйти из неизбежной антиномии между требованием неизменной основы и очевидным жизненным свидетельством ее невозможности. Рикер полагает, что эта антиномия неразрешима из-за способа ее формирования, поскольку модальность связей в жизненной истории человека, фиксирующей изменчивость личности и в то же время не отрицающей ее идентичности, несовместима с указанными кантовскими категориями, которые при этом используются³. Применение такого категориального аппарата в анализе идентичности Я неизбежно приводит к неустранимым проблемам: если Я в целом понимается как субстанция, тогда в его содержании не может быть изменяющегося, которое будет всегда только определением способа бытия Я, что

опровергается, по убеждению Рикера, опытом «физического и духовного изменения» личности от рождения до смерти [7, с. 20].

Именно невозможность обнаружения в жизненной связи общего правила, согласно которому «можно было бы помыслить соединение постоянства и непостоянства» [7, с. 21], заставляет идти к пониманию идентичности Я как единства *ipse* и *idem* не непосредственным путем, а через *посредничество повествования*. Текст превращается в повествование особой вербальной композицией, которую Аристотель в «Поэтике» назвал *mythos*, что переводят как фабула, а Рикер называет интригой. Речь у него идет скорее об *образовании интриги*, поскольку различные компоненты текста организуются в повествовательную целостность благодаря операции структуризации, складывающейся из отбора и упорядочения повествуемых событий и действий. Интрига – это интеллигибельное единство, которое создает композицию обстоятельств, целей и средств, инициатив и невольных следствий [7, с. 63] и превращает некий факт в событие как элемент повествования, находя для него определенное место во временной структуре произведения. Результатом завязывания интриги становится опосредование между многообразием событий и временным единством истории, между разрозненными явлениями (намерениями, доводами, случайностями) и связностью истории, между чистой последовательностью и единством временной формы.

Идентичность рассказанной в повести «Нос» истории сочетает, как в любом повествовании, согласованность и несогласованность, угрожающую идентичности. Черты согласованности Рикер вычитывает в Аристотелевой «Поэтике»: это *полнота* – композиционное единство произведения, при котором интерпретация частей подчинена интерпретации целого; *целостность* – целое «есть то, что имеет начало середину и конец», и именно поэтическая композиция определяет последовательность событий; и *освоенный объем* – очертания и границы действию придает интрига. Повесть «Нос» обладает видимыми чертами композиционного единства, когда зарождение интриги формирует завязку действия, развивающегося в дальнейшем по определенной повествовательной логике; чертами целостности, в рамках которой каждому событию соответствует его место и связь с прочими событиями; имеет границы действия. Но при этом в такое согласованное целое постоянно внедряются случайные события, не соответствующие обычной логике, здравому смыслу и разрушающие повествование, приводя к перелому в действии, который Аристотель называл «поворотом судьбы». Герменевтический анализ композиционного единства текста состоит, в конечном счете, в постижении той семантической динамики, в результате которой «из руин семантической несовместимости» возникает новое смысловое пространство [7, с. 74].

История, рассказанная в повести, выглядит с этой точки зрения весьма странно. В тщательное описание рядового утреннего события, задающее тональность и направление рассказу, в котором бросается в глаза гоголевская страсть перебирать мельчайшие подробности вещного и человеческого миров, эту «ветошь и брэнность» и транспонировать ее в «метафизику элементарного быта» [1, с. 247], врывается невероятное событие. В только что испеченном Прасковьей Осиповной хлебе Иван Яковлевич находит нос, опознав в нем нос коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье. Этому трудно найти объяснение, кроме одного, тоже маловероятного: что цирюльник переусердствовал и отрезал во время бритья нос своему посетителю. Но как этот отрезанный нос попал в дом цирюльника, да еще в хлеб, объяснить невозможно, «ибо хлеб – дело печеное, а нос совсем не то» [2, с. 45]. Этот момент становится началом длительной череды событий, переживаний, действий персонажей, выпадающей из монотонно-спокойного рассказа об обычном завтраке. Целостность повествования разрывается случайностью, вносящей в него эффект неожиданности, но благодаря этой несогласованности формируется новая согласованность и сказание оказывается *подвижной формой*, в которой целостность налаженного повествования подвергается всякий раз новому испытанию. Решает Иван Яковлевич выбросить компрометирующую его перед полицейскими деталь, но ему это все время не удается. Эта невозможность избавиться от носа тоже выглядит неправдоподобно, как и само обнаружение носа в хлебе. Повествование всякий раз взрывается нелепостями, из-за которых нос в платке все время возвращается к цирюльнику, и завершается, как мы узнаем из дальнейшего, арестом Ивана Яковлевича бдительным квартальным. Другая линия повествования тоже начинается весьма обычно: просыпается коллежский асессор Ковалев, делает губами, как всегда, «брр...», собирается рассмотреть в зеркале прыщик на носу. Обнаружение вместо носа гладкого, как блин, места, изменяет и весь привычный порядок жизни Платона Кузьмича, и сообщает новый динамичный импульс повествованию. Плавно-ритмичный рассказ сменяется неравномерным течением, в котором внезапные неожиданности поворачивают повествование, формируя ситуации все новых завязываний интриги, организующей всякий раз новые согласованности. Совершенно невероятная встреча с собственным носом в виде важного господина определяет все дальнейшие действия Ковалева и формирует определенную схему развития действия повести. Майор Ковалев, проходя через все испытания, совершая различные действия, о которых повествует сказание, утрачивает и обретает собственную идентичность.

Композиционное единство, как представляется, чаще всего предполагает закрытость повествования, когда моменты завязывания

интриги и развязки находятся в пределах текстовой структуры и могут служить объяснением всего происходящего. В повести же Гоголя «Нос» момент завязки действия, потеря носа, и момент развязки, его возвращения, вынесены за пределы текста, за рамки повествования, так как именно об этих событиях несколько раз в повести говорится: «Здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно» [2, с. 47]. То есть перед нами открытая повествовательная структура, что выглядит вполне законным: согласно Рикеру, кризис закрытости повествования обычно вызывается потерей идентичности персонажа, что сопровождается утратой конфигурации повествования. Совершенно не известны обстоятельства пропажи носа с лица Ковалева, приведшей к потере майором идентичности и к осознанию себя как *ничто*, как не известны причины его возвращения на свое место, что закончилось и обретением майором Ковалевым самого себя. Все в повести разыгрывается как обман, чертовщина, когда человеку оказывается враждебным повседневное окружение, несущее на себе печать недействительного. Достаточно перечислить те нелепости, которые множились слухами о прогулках Носа в разных местах Петербурга, чтобы признать фантастический характер повествования, усиливающийся тем, что подлинное объяснение случившегося отсутствует. Даже признание действительности колдовства штаб-офицерши Подточиной выглядело бы более правдоподобным, чем внезапное, без явных причин исчезновение носа с лица, появление его в мундире, обнаружение его при помощи очков и столь же необъяснимое возвращение его на положенное ему место. Все объяснения в повести носят сверхъестественный характер, что и способствует организации повествования в целостное единство, когда обычное, повседневное объединяется с невероятным в единую композицию.

Говоря о необходимости исследовать повествовательную структуру, Рикер подразумевает, что такой анализ не только способен вскрывать внутреннюю динамику, направляющую структуризацию произведения, но также отыскивать основания проекции текста вне себя, в результате чего порождается мир как «предмет» текста. Мир гоголевской повести, как показывает анализ повествовательной идентичности, странен, фантастичен, полон невероятных событий и даже inferнальных отсылок. Благодаря потере носа персонажем Гоголю удается показать, как в обычном течении жизни заявляет себя *небытие*, придавая этой жизни абсурдные черты. Как пишет Абрам Терц, Гоголя интересует «присутствие некоего отсутствия в мире», когда абсурд коренится в быту самого обыкновенного будочника или цирюльника, взятого как общее место человеческого исчезновения, а сбежавший нос есть «нулевая безмерность» (как женитьба без жениха, самодержец без царя в голове,

ревизор без прав и намерения проводить ревизию) [1, с. 321]. Черт оказывается некоторой фикцией, имманентно присущей миру, вследствие чего господствующий в мире гоголевской повести обман рассматривается как принадлежащий к уставу бытия [1, с. 322], а «суть человека иррационально выводится из хаоса мнимостей, которые составляют мир Гоголя» [5, с. 622]. И кажется, спасти человеческое начало Гоголь может, лишь представив человека нелепым, утратившим соответствие тому марионеточному миру, где возможность счастья и полноты бытия коренится в наличии звания, позволяющего успешно одолевать ступени карьерной лестницы.

Утратив с потерей носа все возможности счастливой, по представлениям Ковалева, жизни, сознавая себя самого как «ничто», он странным образом обретает двойника: господин в мундире и шляпе с плюмажем может рассматриваться как двойник самого майора, поскольку рассматривается последним как воплощение его мечты о карьере, званиях и чинах. Нос – это символ всех возможностей, предоставляемых званием, выражение заветных мечтаний майора Ковалева. С другой стороны, Нос в мундире есть двойник ничто, пустоты, ибо его несубстанциальность сознается даже Ковалевым, робеющим перед высокими чинами. И действительный мир, представленный Гоголем в повести, имеет своего двойника – некий антимир, проникающий в повседневность сквозь провалы и зияния в ней. Введение такого двойничества усиливает необычную атмосферу повести, заполненной фантастическими событиями, что соответствует самому характеру гоголевского повествования, его языку, постоянно сбивающемуся с описания происходящих событий на несущественное, второстепенное, заполняя этими способными к мимикрии незначительными деталями все пространство повести, – языку, похожему то на «скороговорку фокусника», то на «кошмарный фейерверк» [5, с. 623].

Примечания

¹ Это, по мнению Рикера, проявляет актуальность для герменевтического исследования методологической его компоненты, почти полностью утраченной Хайдеггером,двигающимся «коротким путем» из феноменологии в герменевтику – путем онтологии понимания, когда «вопрос: при каком условии познающий субъект может понять тот или иной текст, или историю, заменяется вопросом: что это за существо, бытие которого заключается в понимании?» [8, с. 8].

«Длинный путь», на который решается сам Рикер, позволяет выводить рефлексию на уровень онтологии, как и у Хайдеггера, но с «последовательным учетом» требований семантики и рефлексии, с формулированием требований к интерпретации знаков, выражающих существующего Я, которое «через истолкование своей жизни открывает,

что он находится в бытии до того, как полагает себя и располагает собой. Так герменевтика открывает способ существования, который остается от начала и до конца интерпретированным бытием» [8, с. 16].

Таким образом, Рикер считает герменевтику учением об истине бытия, к которой можно придти не отбрасывая метод, трактуемый в контексте дисциплин, исходящих из истолкования (но не применяемый в естественнонаучном познании), а используя методологические достижения герменевтики, чтобы в самом языке, в тексте находить указания на то, что понимание является способом бытия.

² И если у такого автомата появляются подлинные человеческие чувства, стремления и переживания, это выглядит нелепостью, приметой другого мира (как у Башмачкина в «Шинели»).

³ Категория субстанции, первая из категорий отношения, имеет своей схемой «постоянность реального во времени, т. е. представление о нем как субстрате эмпирического определения вообще, который, следовательно, сохраняется, тогда как все остальное меняется» [4, с. 225], а в первой аналогии опыта, являющейся основоположением постоянства, Кантом приводятся как раз те характеристики субстанции, которые делают ее неадекватной проблематике «Я»: «Во всех явлениях постоянное есть сам предмет, т. е. субстанция (phaenomenon), а все, что сменяется или может сменяться, относится лишь к способу существования этой субстанции или субстанций, стало быть, только к их определению» [4, с. 254].

1. Абрам Терц. В тени Гоголя // Абрам Терц (А. Синявский). Собр. соч.: в двух томах.– Т. 2.– М.: СП «Старт», 1992.– С. 3–336.
2. Гоголь Н. В. Нос // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6-ти тт.– Т. 3.– М.: Госуд. изд-во худож. литературы, 1952.– С. 44–70.
3. Гронден Ж. Герменевтика фактичности как онтологическая деструкция и критика идеологии. К актуальности герменевтики Хайдеггера // Исследования по феноменологии и философской герменевтике.– Минск, 2001.
4. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6 тт.– Т. 3.– М., 1964.
5. Набоков В. Николай Гоголь // Набоков В. В. Приглашение на казнь: Романы, рассказы, критические эссе, воспоминания.– Кишинев: Лит артистикэ, 1989.– С. 537–631.
6. Рикер П. Время и рассказ.– Т. 2. Кофигурация в вымышленном рассказе.– М.; СПб.: Университетская книга, 2000.– 224 с.
7. Рикер П. Герменевтика, этика, политика: Московские лекции и интервью.– М.: АО «КАМІ», Изд. центр «Academia», 1995.
8. Рикер П. Конфликт интерпретаций.– М., 1995.
9. Рикер П. Память, история, забвение.– М.: Изд-во гуманит. литературы, 2004.– 728 с.
10. Хайдеггер М. Онтология (герменевтика фактичности) / Пер. И. Инишева.– в рукописи.